

Научная жизнь

СИСТЕМА И СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК. ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ Н.Е. ЕРОХИНА

Т.А. Халилов

Научный журнал «Историческая и социально-образовательная мысль»

Аннотация: 16 марта 2018 г. состоялось шестнадцатое заседание постоянного теоретического семинара «Русская мысль и политика». На нем обсуждалась книга «Тузаев. Обретение души» Н.Е. Ерохина¹ — писателя и бывшего сотрудника Южного федерального университета. В данном информационно-аналитическом обзоре представлены основные тезисы презентации и последовавшей за ней дискуссии.

Ключевые слова: Н.Е. Ерохин, Система, советский человек, политический режим, спичрайтер, свидетель события, участник события.

Н.Е. Ерохин в рамках шестнадцатого заседания постоянного теоретического семинара «Русская мысль и политика» в своем докладе «Вслед за повестью» сказал:

– Моя повесть о Тузаеве, об обретении души начала свою, независимую от меня, жизнь — идут отзывы, отклики, оценки, суждения... Я не ожидал такой лавины со стороны читателей. Сделаю оговорку — читателей, которым книжку успел послать и которые её прочитали. Человек пока пятьдесят. Но и откликов столько же. Отклики в основном положительные, а то и просто крайне лестные для меня. Нет, есть один отзыв от авторитетнейшей читательницы, личности крайне мной почитаемой, ведущего научного сотрудника одного из институтов РАН, в котором повесть моя квалифицируется как отрицательный опыт. Смягчая неутешительный вердикт, автор отзыва напоминает, что отрицательный результат в науке — тоже результат. Решусь на возражение. Во-первых, повесть моя и наука лежат на разных полках, а во-вторых, я не могу отделаться от ощущения, что суровый мой рецензент говорит о какой-то другой книге, которую он прочитал, а не о моём «Тузаеве», который прост, ясен и понятен, что называется, до последней копейки.

Конечно, было бы замечательно обменяться мнениями и обсудить книжку в литературном или журналистском сообществе. Но я не знаю, живо ли оно, как и на что оно настроено и к какому разряду причислит меня? Друзей или врагов народа?

Конечно, было бы замечательно обменяться мнениями в моих любимых и родных библиотеках... Но университетская съехала со своего исторического места куда-то в университетский городок и мне теперь до неё не добраться. А Публичная всё отдаёт в руки энтузиастам.

¹ См.: Ерохин Н.Е. Тузаев. Обретение души. — Ростов-н/Д.: Foundation, 2017.

ста — сам организовывай встречу с читателем, если, конечно, он у тебя имеется, агитируй, зови, завлекай и развлекай. А мы помещение предоставим...

Но вот, сверкнули мне несколько ярких молний и сообщений, которые озарили мои и ум, и душу и я почувствовал себя необыкновенно счастливым и щедро творчески вознаграждённым.

Во-первых, Ивантеевская районная библиотека в Саратовском Степном Заволжье (это моя малая родина, которую я покинул более шестидесяти лет назад) запланировала читательскую конференцию по «Тузаеву», как это делалось ими всегда по всем моим книгам.

Во-вторых, авторитетнейший сетевой электронный журнал «RELGA», постоянный многолетний публикатор моих повестей и рассказов, моей публицистики и в этот раз не прошёл мимо повести и в адаптированном виде планирует вынести её на свои электронные страницы.

В-третьих, научное университетское, вузовское сообщество учёных — философов (можно сказать — последние из могокан) назначило обсуждение моего «Тузаева», ну, и меня, конечно, как его творца и создателя.

Вот всё это, вместе взятое, побуждает меня сказать несколько сопутствующих, разъяснительных, уточняющих авторских слов.

Моя повесть «Тузаев. Обретение души» оказалась (помимо моей воли и намерений) многожанровой, многослойной. Она похожа на реку, которая начинается с ручейка, потом течёт вольно и широко и в конце пути распадается на множество рукавов. У моей повести совершенно былинный (кто-то из читателей выразился — «библейский») зачин. Деревня — вся — бежит, куда глаза глядят от ужаса надвигающейся коллективизации. Характеры, люди поступка, сплочённые и стойкие как староверы и духоборы. Это — люди духа, несломленные, люди с именем, с железной волей и стремлением к свободе. Они своего добиваются, даже оказавшись на самом краю безжизненной ойкумены. Их почти всех убили война и послевоенное безумно тяжёлое время.

Далее мой герой пополняет ряды городского плебса, не очень осознавая, и тем более, понимая трагизм утраты деревенских, крестьянских, сущностных бытийных корней. Он выбился в чиновники, пусть даже и мелкой сошкой. Но именно это обстоятельство открыло ему новую перспективу — дорогу в общественные науки. Увы-увы, в советские, общественные, скорее, не науки, а псевдонауки.

Тем не менее, они вывели Тузаева на столбовую, можно сказать, дорогу, чиновной, более того, партийной карьеры. Именно здесь, он вместе со страной потерпел полное крушение своей судьбы.

Далее в книге резко меняется и стиль изложения текста, и его глубинное содержание: Тузаев позволил себе устроить и над собой, и над Системой, вскормившей его, суровый, прямой, без отвода глаз, суд. Кто-то из моих корреспондентов назвал это деяние «самосудом».

Может, и так, ни возражать, ни спорить не буду. А буду готовиться к суждениям — рассуждениям, вопросам — запросам на истину.

Читатель не может не заметить, что мой Тузаев (и я, как автор, само собой разумеется) выбрал, в конце — концов, в поводыри себе несколько имён. На мой взгляд, на моё ощущение, великих, но до сих пор не понятых вполне, а то и просто непринятых обществом имён — Толстого, Платонова, Сахарова, Астафьева, Солженицына...

Теперь я считаю крайне нужным добавить к этой плеяде великих имён ещё три имени, взятых мною — нет, не из национальной, а мировой сокровищницы. Увы и ах, но многим нашим современникам, особенно тем, кто идёт вслед за нами, вряд ли эти имена что-то скажут, они про них, думаю, и слыхом не слыхивали. Андре Жид. Возвращение из СССР. Когда я читал это произведение Жида, меня сто раз бросало то в жар, то в холод, и я всё боялся, что

найдутся в наших повестях, которые разделяют почти сто лет, не просто интеллектуальные, а прямо-таки текстовые совпадения и оценки. Я повесть Жида прочитал тогда, когда уже была написана и издана моя повесть. Так что меня распирает сейчас гордость от того, что мне удалось подняться на какую-то высоту понимания, которая была столь очевидно и столь мучительно открыта великому французу.

Два слова о понятии — «Обретение души». Может, точнее, было бы сказать о спасении души. Здесь важно, что герой мой душу свою вроде бы спас, совесть свою, облик человеческий сохранил. И всё-таки я полагаю, что об обретении должна идти речь.

Мой Тузаев — это отчаянное осмысление судьбы, вписанной во Время, судьбы, заданной Системой, которая требовала себе всю душу подданного без остатка.

И тут самое время обратиться к мыслям Франкла. Выписал он эти мысли в абсолютно трагические дни и часы: «Человек ваяет свою жизнь из того материала, который дан ему судьбой: в творчестве, в переживаниях или страдании он созидает ценности собственной жизни и каждый, по мере своих сил, формирует или ценности творчества, или ценности переживания, или ценности отношения».

И словно продолжая наш диалог, Экзюпери заключает: смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но срубите плодоносящее дерево, и садовник будет убит.

Опираясь на мысль Экзюпери, утверждаю со всей убежденностью, что моя повесть о Тузаеве — это плодоносящее дерево, а я — садовник, только садовник, лелеющий и растящий это дивное дерево.

Профессор ЮФУ **Я.А. Перехов** констатировал:

– Новая книга Николая Ерохина удачно сочетает в себе черты исповедальной прозы, ностальгические воспоминания о юности, прошедшей в суровых условиях заволжской степи, о близких и бесконечно дорогих людях. Это самые поэтические страницы книги, самое начало «обретения души» героя повествования Тузаева.

Городская жизнь, армейская служба, работа на заводе формируют новые ощущения героя повествования, вызывают стремление познать себя в новых реалиях начавшейся партийно-чиновной карьеры, которой предшествовало обучение в университетской аспирантуре на одной из кафедр общественных наук. Именно в эти годы тесно переплелись дорожки жаждущего новых знаний неугомонного аспиранта и молодого преподавателя, который уже сам обучал студентов основам «всепобеждающего» учения марксизма-ленинизма. Именно в те далёкие семидесятые годы мы с автором познакомились и подружились.

В книге меня поражает абсолютная точность воссоздания портретов и образов реальных лиц того времени. Например, сотрудника аспирантуры с профилем Македонского... Абсолютно узнаваемы партийные руководители городского и областного масштаба.

Рассказывая о своей работе в качестве и должности «писарчука», автор мастерски использует приём иронии. Чего стоит, например, рассказ о том, как Тузаеву было поручено «обеспечить достойный отдых» важного гостя с Острова Свободы.

Заключительные части книги носят публицистический и даже обличительный характер и побуждают читателя думать не только о прошлом, но и о настоящем и о будущем.

Повествование подкупает своей искренностью и честностью. Автор откровенно и ответственно говорит о времени и о себе, не стремясь выглядеть героем и борцом за справедливость. Просто рассказывая о своём многолетнем опыте спичрайтерства, он исключительно много рассказал и о времени, и о себе. Спасибо ему.

Б.З. Хидекель (журналист и бывший сотрудник Южного федерального университета) в своем докладе «Свидетельство о Жизни и Душе. О повести Н. Ерохина» полагает, что новую повесть Н. Ерохина «Тузаев. Обретение души» можно смело назвать самым интимным из

всех его произведений, хотя интима в привычном смысле, кроме трогательного воспоминания о юношеской любви героя к скромной девочке-гиду, в повести нет. Она интимна как итог его самых душевных, самых заветных и самых долгих и трудных раздумий о самом дорогом — о России, о её народе, об их судьбах на путях и перепутьях их далёкой и относительно недавней, но неизменно трагической истории. Неотступная мысль автора, как стрелка компаса, мечется от полюса к полюсу в поисках ответа, то замирая в запредельном отчаянии, то пытаясь утвердиться на рубежах надежды. Это крик его души, болящей о своей Родине. Вспоминается в связи с этим письмо Л. Толстого к Л. Андрееву, где он называет единственное условие, дающее писателю моральное право говорить: «... только тогда, когда мысль, которую хочется выразить, так неотвязна, что она, до тех пор, пока, как умеешь, не выразишь её, не отстанет от тебя. Всякие же другие побуждения для писательства тщеславны...». А в этой повести не одна, а поток «неотвязных» мыслей — поэтому эта книга не могла не родиться, она буквально была обречена появиться на свет.

Свою боль и самые сокровенные мысли автор передоверил её герою, которого и называть-то главным нет необходимости, так как никаких других в повести нет, — Ефрему Тузаеву. Автор не изображает его как одну из выдающихся фигур ушедшей эпохи, но считает далеко не последним среди участников и свидетелей событий в России, охватывающих едва ли не полный человеческий век. Ему, герою, есть что сказать читателю. «Да, — говорит о нём Н. Ерохин, — он не стал отважным исследователем времени, но свидетелем времени он стал настоящим».

Для понимания художественной задачи автора важно учитывать, что Тузаев не реальная историческая личность в научном понимании этого слова... Он историчен иначе — тем, что массовиден и типичен, и в этом смысле в большей мере характеризует и выражает своё время, нежели действительные исторические деятели, о которых пришлось бы писать, строго следуя фактам. Повесть монологична, причём это монолог не самого Тузаева, но автора от имени его героя. Она же и диалогична, потому что через всю повесть проходит мучительный спор героя с самим собой и со временем, выпавшим на его долю. Этот спор и есть пружина, движущая сюжет, и смысловой и идейный нерв произведения. Помимо Тузаева, другие персонажи в произведении скорее внесценичны, они тенями появляются, чтобы тут же уступить место другим; из близких и родственников лишь вскользь упоминается мать, которую Ефрем из деревни перевёз в свою кооперативную квартиру, и сестра с мужем, у них некоторое время он квартировал. Тузаев — человек очень общительный и жизнелюбивый, и его окружение довольно многочисленно, но автор сознательно выводит его (окружение) из кадра, чтобы не отвлекать внимание читателя от напряженного внутреннего процесса осознания реальности, своего места в ней, и отношения с нею фокусирует внимание на его внутренней жизни.

Ефрем Ильич — своего рода внутренний эмигрант, подпольный человек. На протяжении всего повествования писатель прослеживает мучительный путь нравственных «хождений» героя в поисках себя самого как целостной свободной личности. На это устремление Тузаева к себе — тому, каким он был задуман Богом, уходит целиком вся его жизнь. Между писателем и его героем дистанция минимальная. С первых же страниц читателю понятно, что автор любит Тузаева и — более того — любит, восхищается им. И есть за что: Ефрем щедро наделён природой множеством способностей, среди них — и абсолютный музыкальный слух, и звонкий залиvistый голос, он любит и тонко чувствует живое и письменное русское слово и в свою редкостную память навсегда впечатывает немислимое количество песен, частушек, стихов, забавных баек и анекдотов, которые в любую минуту готов артистично исполнить. Ещё об одном своём замечательном даре — способности к глубинному аналитическому подходу к жизни во всех её проявлениях и склонности к рефлексии и философскому

осмыслению истории — Ефрем ещё не догадывается, а писатель ничего об этом до поры не говорит.

Тузаев прошёл почти все ступени советской социальной лестницы и сумел «из умственного, интеллектуального, культурного небытия» (И. Бродский) подняться по ней довольно высоко: по рождению и до юношеских лет он — деревенский житель из задворков Великой Степи, но при этом, при стольких завидных способностях, мало приспособлен, да и не расположен, к тяжкому и суровому деревенскому житью-бытью. Автор констатирует, что «к деревенской первобытной жизни он (Тузаев) оказался совершенно непригодным. Слабосильный заморыш, он созрел к взрослой жизни робко и неуверенно». Он неловок и неумел во многих работах в поле и на подворье. Даже его сверстники не воспринимают Ефрема всерьёз, снисходительны к нему как к работнику. Но Тузаев несколько не хуже их, просто в тогдешней да, наверное, и в сегодняшней, деревне в цене иные, чем у Тузаева, навыки и таланты. Чем же компенсирует Ефрем свою «неполноценность» в глазах односельчан и в собственных тоже? С лёту освоив грамоту, превращается в «пожирателя книг», поначалу, правда, неразборчивого, но скоро опережает свих сверстников в начитанности, ненасытной жажде знаний, превосходит их в труде творческого характера; ему нет равных в выдумке и пении. К слову, вряд ли Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Есенин, Сергей Клычков и другие новокрестьянские поэты были «ударниками и передовиками крестьянского единоличного труда». Им выпала иная стезя — стать певцами и голосами русского крестьянства, выразителями их настроений и чаяний. В то же время, будучи, как и они, «отщепенцем» крестьянского мира, Ефрем, подобно им, тоже ощущает себя, и чем далее, тем больше, естественной частицей этого мира. С годами Тузаев открывает в себе своё деревенское начало. На склоне лет к нему возвращается ощущение своих корней, кровной связи с Великой Степью, прежде им не осознаваемое. Не исключено, что именно такая генетика позволила ему в последующем не только не потерять себя, но и найти силы возвратиться к своей сущности.

Заодно эта же Великая Степь внесла и первый диссонанс во внутреннюю гармонию его ребячьей души: дело в том, что «все её обитатели в обиходе разговаривали матом. Мат и похабень пронзали собой всё... И ничего святого в таких речах-разговорах не было и быть не могло... Только телесный низ всех, кто на язык попадёт... Матерком была пересыпана самая мирная и дружеская беседа». Мат отравлял ядом цинизма подростка, не успевшего ещё выработать нравственный иммунитет. И это была первая трещина в его душе, начало раздвоения личности. «Душа его противилась мату,- замечает автор,- но вот волею случая и таланта он оказался хранителем всего устного похабного фольклора. Он не скоро уразумел, что двусмысленное состояние души и ума грозило ему тяжёлым раздвоением личности».

Дальнейшие перипетии его прихотливой биографии (работа после сельской школы на большом заводе в крупном промышленном центре и приобщение к рабочему классу, учёба в юридическом институте, т. е. успешное приближение к переходу ещё в не этическую пока, то уж точно в новую социальную группу интеллигенции, прерванное службой в армии), должно быть, не примирили Тузаева с параллельным языком народа, однако, наверняка заставили притерпеться к нему.

Но настоящее и почти клиническое раздвоение души настигло его позднее, когда он стал своим в комсомольской, а затем и партийной среде. И там не обходилось в общении без мата, но теперь этот факт отходил на бог знает какое место перед куда более драматической коллизией: став вожаком заводского комсомола, «он обнаружил в самом себе необходимость категорической раздвоенности, умения и понимания иметь и давать двойные оценки, двойные стандарты, двойные поступки, так сказать, в реальности и идеале». Он ещё не осознавал, что заболевает опаснейшей болезнью, имя которой — трагедия двоемыслия и что его природная цельность будет изо всех сил противиться этой болезни. Червь сомнения не даёт ему

покоя, без жалости точит его. На начальной стадии болезни он ещё может искренне заявить: «В марксизме-ленинизме я ищу ответы на злобу дня и верю в коллективный разум и мудрость партии». Он был не только преданным Системе работником, а лучшим из них. Однако процесс раздвоения нарастал, становился всё глубже... «При этом он оставался правоверным марксистом-ленинцем и думать не думал о каких-то критических оценках и переоценках величественного теоретического наследия».

А практика социализма подбрасывала всё новые факты для размышлений и сомнений. Ефрем не выбился во власть, не стал её живым воплощением, но днём и ночью находился при ней на достаточно высоких этажах в роли недремлющего стража, обеспечивающего пропагандистско-идеологическими средствами её вечную и непоколебимую легитимность. Со свойственной ему острой наблюдательностью он сразу заметил, что практически поголовно для комсомольских и партийных функционеров стало привычным внутреннее раздвоение. В дальнейшем оно захватывало и всё более широкие слои общества. На поверхности это выглядело как расхождение между вербальным, публичным (т. е. идеологическими, пропагандистскими установками) и поведенческим аспектами жизни. Для подавляющего большинства партийных и непартийных масс этот раздрой воспринимался на уровне инстинкта, и, повинаясь ему, и нисколько не задумываясь о его природе, причинах и последствиях этого явления, они просто не упускали случая воспользоваться им. Между тем, корни его уходили глубоко в теоретический фундамент этого грандиозного сооружения и представляли смертельную угрозу его существованию. Это понимали наиболее проникательные и серьёзно мыслящие, подобно Тузаеву, современники.

Кто знает, может быть, этот раскол в общественном сознании и стал одной из глобальных причин гибели советской системы, ибо храм, разделившийся в себе, не может устоять. Многие и многие, и прежде всех, советские и партийные работники, ухитрились извлекать немалую для себя пользу из такого аномального состояния общества. Перспективы карьерного роста, пайки в закрытых распределителях для парт- и совработников, квартиры вне очереди, путёвки в партийные санатории, загранпоездки и многие другие более или менее существенные знаки принадлежности к особому привилегированному слою тешили самолюбие и обеспечивали существенные жизненные преимущества. И Ефрем Ильич стал одним из состоящих на довольствии у Системы. Сидение между двумя стульями унижало и заставляло страдать его. Пытаясь преодолеть эту пропасть, Тузаев расширяет круг поиска ответов на накрывающую его лавину вопросов — это уже не только труды «основоположников», но и классика мировой философии, произведения великих русских писателей, статьи и монографии отечественных и зарубежных властителей дум нового времени. Он жаждет неопровержимых доказательств абсолютной верности теории и практики марксизма-ленинизма, однако, приходит к неожиданному обратному эффекту — чем больше накапливалось у него знаний, тем меньше оставалось места для веры. В конце концов, её не остаётся вовсе, а там, где должна была воссиять вера, утверждается беспощадное, как смертный приговор, как диагноз заключение: построение небывалого нового общества — чистейшая и вреднейшая утопия, и его Родина движется в пропасть, в исторический тупик. Эти страшные и горчайшие истины были добыты Тузаевым «неимоверными усилиями духа».

Непреложность полученных выводов потрясла Ефрема. Он сам не решается верить им, «...не хватило у Тузаева мужества и чести посмотреть правде в глаза. Как признаёт автор, его любимый герой «побоялся, струсил выработать в себе механизм, именуемый собственным мнением. Он задушил в себе нарождающуюся способность додумывать свои мысли до конца, а это означало, что он не способен делать самостоятельные выводы и поступки. Он оказался не способен поступать, действовать, говорить, писать как того требовали истина или хотя бы её честный, неспекулятивный поиск». Что же удерживало, связывало по рукам и

ногам мысль Тузаева? Автор даёт однозначный ответ: вьевшийся в душу Страх! И не только опасение: как бы чего не вышло, а выйти могло действительно нечто ужасное для него, но и уже упоминавшееся великое сомнение в себе — неужели столько умных, эрудированных, более опытных старших товарищей не видят того, что для Тузаева стало ясно как божий день?

Н. Ерохин скрупулёзно описывает, как Тузаев неумоимо продирается сквозь колючие и непроходимые заросли навязанных идейно-теоретических постулатов, расширяет лоб о надолбы лживых пропагандистских штампов, к бетонированию которых и он, многогрешный, руку приложил. Подобно птице, которая после томительной зимовки на чужбине стремится на родину, так и герой повести неудержимо рвётся к истине, к высвобождению из тенёт лжи и лицемерия. Но это процесс только внутренний, а извне, как с горечью признаёт герой книги: «Учишь людей жить не по лжи, а сам неотвратимо погружаешься в неё, в ложь, как в болото». Он замечает, что и друзья его дома, сплошь интеллектуалы, талантливые, образованные, состоявшиеся в жизни, которые «всё понимали, всё знали, ... слова на веру в их кругу не котировались», под давлением эпохи, времени сделались искренними лжецами, которые «лгали даже самим себе. Так складывалась судьба поколения, к которому принадлежал Тузаев».

Это наблюдение в немалой степени объясняет, почему после своего прозрения Тузаев решительно не порвал с Системой. Во-первых, Система, как и криминальный мир, так просто никого не отпускает. Андре Жид в «Возвращении из СССР» более восьмидесяти лет назад очень выразительно обрисовал правила игры, установленные партией, то бишь Системой: «Вступить в партию... — первое и необходимое условие для успеха. Вступив в партию, выйти из неё уже невозможно, не лишившись своего положения, места и всех привилегий... Да и зачем выходить из партии, где можно чувствовать так хорошо? Кто вам предоставит ещё такие же привилегии!.. Только соглашаться на всё и ни о чём не задумываться. Да и зачем задумываться, когда решено, что всё идёт так хорошо. Задумался — значит контрреволюционер. Значит, созрел для Сибири». Время только обогатило эту характеристику, но не отменило его справедливости. Тузаев «задумался», но служить продолжал Системе во всю силу своего таланта, поднимаясь по её ступенькам всё выше. По выражению автора, Тузаев продолжал жить «в объятиях Системы», и нет в книге доказательств его намерения порвать со своей кормилицей. Конформист? Абсолютно так. Человек с фигой в кармане? Точно так. А кто из партийцев, в особенности функционеров среднего или высокого ранга, тогда добровольно из-за расхождения своих убеждений с позицией Системы выложил свой партбилет? Таковых не оказалось. Следовательно, во-вторых, Н. Ерохин погрешил бы против истины, изобразив своего героя, демонстративно порывающим с Системой. В противном случае надо было бы писать совсем другую книгу с совершенно другим, нетипичным, героем. Выступивших из Системы и против Системы можно перечесать по пальцам, и все они по преимуществу — из творческой интеллигенции, из научного мира, но не из партийных функционеров.

Тузаев не Швейк, не Чонкин и не шукшинский «чудик», не Иван-дурак из русских сказок, всех этих персонажей можно назвать «естественными» людьми». Ни о каком протесте или подрыве основ любой Системы они не помышляли, она вообще была вне их восприятия, не существовала для них, потому что они жили в своём мире. Но факт их существования воспринимался как оппозиция и угроза для общепринятого, лицемерно-привычного. Тузаев, которого поначалу можно было отнести к «естественным» людям, со временем почти утрачивает это качество. За подъём на социальном лифте приходится расплачиваться. И всё-таки до окончательного падения дело не доходит. Чем же он оказался выше своих партийных коллег? Тузаев нашёл в себе силы и смелость пойти до конца в своём бескомпромиссном анализе. Процесс этот продолжался и после краха советской системы, и в перестроечные годы и

нашёл выход в писательстве, в творчестве, где уже пенсионер Тузаев наконец-то обретает себя.

Композиционно повесть закольцована главкой «Люди Великой Степи», своеобразном прологом её, и кратким — в одну страничку — эпилогом. Пролог по стилю напоминает то ли народный эпос, то ли библейскую историю об иудейском народе, искавшем землю обетованную. Три года водит по мёртвым и бесплодным просторам Степи старик Иван Тузаев свой «народ», односельчан и родственников, в поисках такого уголка земли, где никто не мешал бы жить им по своей воле.

Главное для нас в этом зачине — символическая параллель между блужданиями непосредственных предков Тузаева по бескрайней Степи и блужданиями беспокойного духа и неугомонного ума их потомка по немереным пространствам мысли в поисках заветной истины. И мысли, и открытия Ефрема столь же безотрадны, как и места, через которые вёл переселенцев Иван Тузаев. Что же Ефрем Тузаев вынес к финалу своей жизни в одной из придуманных им трёх своих условных корзин? Во-первых, он «навсегда попрощался с марксизмом в его убогой советской упаковке»; во-вторых, он испытал «смертную тоску по несостоявшейся свободной стране свободных людей», потому что «поверженный советизм, к изумлению Тузаева, оказался непобеждённым»; в-третьих, он обнаружил, что «начался путь назад, и ставка при этом сделана была на «сталинскую матрицу, на возврат страны в советскую матрицу» и что «общество пришло туда, откуда вроде бы и не уходило». Предоставим читателю самому ознакомиться с полным содержимым этой и ещё двух корзин — итогов его многолетних раздумий. Отметим заодно, что непреодолимое желание расквитаться со своим прошлым и прошлым своей страны, а также тотальное разочарование её настоящим при убедительно аргументированном выводе о невозможности будущего у России на историческом её пути, продиктованном народу «конторскими», заставляет забыть, что читаешь повесть, а не страстную публицистическую проповедь и исповедь русского патриота безо всяких кавычек.

Что удалось Николаю Ерохину? В литературе останется созданный им, возможно, первым, образ не лишённого обаяния и привлекательности партийного конформиста. Герой такого плана мог появиться только в литературе стран, переживших тоталитаризм, то есть для России он ограничен.

Даже идейно-теоретически отвергая Систему, Ефрем вряд ли по доброй воле расстался бы с нею, если бы она не рухнула сама. Скорее всего, Тузаев предвидел и предполагал такую развязку. Своим аналитическим умом он давно уже просчитал её неизбежность. Но, может быть, его согревала надежда, что на обломках отжившей и рухнувшей пирамиды вырастет нечто более органичное и более пригодное для нормальной человеческой жизни, может быть, он надеялся, что история России, как и у других достойных народов, наконец-то станет развиваться не по кругу, а по спирали. Всё может быть, но в книге об этом ничего не сказано, хотя читатель не лишён права на домысел, коли произведение к этому располагает.

Наконец, об эпилоге. Кстати, случайно ли, что последняя глава повести, предваряющая эпилог, называется «Кому повем печаль мою» и не настраивает читателя на лучезарный оптимизм. После множества прогнозов в заключительной и других главах о безнадежности нашего будущего (например: «нужно готовиться к тому, что прошлое, причём самое ужасное, нам придётся ещё пережить вновь и вновь»; «начинается «расцвет» отрицательной селекции» и т. д.) автор в эпилоге описывает сон Тузаева. Идя по кладбищу, Ефрем Ильич обнаруживает надгробие И. Бродского со словами Секста Проперция двухтысячелетней давности: «Со смертью не всё кончается».

Во сне это видение дарит герою «улыбку надежды». Надежды на что? На то, что ждёт нас там, после смерти? После Бродского остались его гениальные стихи, а на что надеяться простым смертным? Неужто кладбище — источник веры в жизнь и в лучшее будущее? Не

хочется соглашаться с автором. Но никакого другого варианта он не предлагает и завершает повесть оптимистическим кличем: «Да здравствует жизнь!». Да, мудр и неоднозначен Ефрем Ильич! Но не более, чем каждый из нас и чем породившая его Россия, самая противоречивая и родная из всех существ на Земле стран. А вдруг прав великий Ф. Тютчев, и остаётся нам только одно: верить в Россию, а ум и разум пустить по боку. Но как же быть тогда с самим Тютчевым, умнейшим из людей тогдашней России и Европы!?

И всё же, всё же... Тому же поэту-философу принадлежат строки: «Чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса...». Уточним: особенно русское сердце. Именно России жизнь и история преподносила страшные уроки. Но наперекор горькому многовековому опыту вера не сгорала, а ещё с большей силой разгоралась в надежде на лучшее будущее. Вот и теперь, после прочтения честной повести Николая Ерохина с его безотрадным взглядом на перспективы нашей Родины, к сожалению, достаточно убедительными, всё равно пульсирует, бьётся неистребимое желание верить. Похоже, не утасует оно и в глубине души самого автора «Тузаева...».

Постскриптум. Я не теряю надежды, что повесть Н. Ерохина будет прочитана молодым поколением, ему это куда важнее, чем нашим сверстникам, часть коих страдает от бремени недугов и лет, а другая никогда не примет тузаевскую позицию и только придёт в яростное неистовство. Повесть про них и их время, но не для них. Молодёжь должна иметь верную и честную картину того времени, иначе зачем эта книга.

И второе замечание на прощание. Каюсь, но я ни словом не обмолвился о замечательно написанных, очень ярких, запоминающихся своим юмором и живостью красок эпизодов из деревенской, армейской, заводской, комсомольско-партийной и, наконец, университетской и научной жизни. Ничего не сказал о тех разговорах, случаях, встречах с людьми, которые подтолкнули Тузаева к первым сомнениям и размышлениям. Но, думаю, надо же и другим оставить пищу для размышлений. Не так ли?

Профессор ЮФУ **О.Ю. Мамедов** прислал письмо: «Дорогой Николай Ефимович, хочу поздравить Вас с огромной удачей — книга удалась и займёт своё, уникальное, место в „свидетельской“ литературе нашего безвыходного времени.

Любая книга начинается с языка. Ваш язык — великолепен. И не всегда лёгкий. Глаз не скользит поверх строк, как лёгкий чёлн. Нет, иногда приходится останавливаться и перечитывать. И это тоже можно отнести к писательским находкам.

Сюжет — всеохватный. О том, что было вчера, что мучает сегодня и как будем страдать завтра.

Не знаю, может, повествование от первого лица подействовало бы на читателя посильнее, но и так нужная степень доходчивости достигнута.

Вы — молодец. Литератор, — в том, старинном смысле этого занятия, когда писали по велению души, а не по велению прохудившегося кошелька.

Я всегда удивлялся этому Вашему таланту. Ведь всё препятствовало его появлению и формированию. И хотя я с не знаком с Вашей биографией, но — все мы вышли из одной и той же одежды, очень похожей на шинель, а потом ещё долгие годы донашивали. Многие и до сих пор носят.

Как, когда, с какими усилиями (и были ли эти усилия) Вы расстались со своей личной „шинелью“, — я не знаю. Но в любом случае это — подвиг.

Обнимаю. Пишите, творите, авось, хоть один современный „шинелист“ окстится. Но надежды нет даже на это. Ваш — О.М.».

Писатель **В.Е. Кисилевский** высказался так:

– Читателей «Тузаева» я разделил бы условно на три категории. На тех, кто знает или не знает автора лично, кто знает или не знает его лишь по написанным им книгам, на ведаю-

щих или не ведающих как, кем и чем живо и всеильно было партийное руководство СССР — от районных комитетов до кремлёвских небожителей. В зависимости от этого читательский интерес к «Тузаеву» будет не то чтобы лучше или хуже, а различным по восприимчивости.

Вообще, повествование, в котором автор легко узнаваем, вызывает особый интерес, особенно у читателей первой категории. Более того, если книга эта по жанру своему не стандартное мемуарное творчество, а художественное произведение, где допустима «отсебятина». Именно поэтому каждый автор, рискнувший пойти по этой стезе, легко уязвим. Чего ни коснись: достоверности излагаемых фактов, характеристик персонажей, временного соответствия, список этот можно длить долго, вплоть до реакции участников описанных событий, многие из которых по сей день живы и склерозом не страдают.

Не менее любопытно восприятие читателей второй (не по рангу, конечно, а по счёту) категории — читавших или не читавших предыдущую книгу Николая Ерохина «В окрестностях последнего одиночества». Для читавших — очевидна перекличка её с «Тузаевым». Достаточно было бы одной её главы «Страна моя родина», одного лишь разговора автора с мощным стариком гибнущей деревни. Цитирую: «Пропадали люди возлюбленной малой родины. Люди великой степи». И для сравнения — глава «Прозрение» из «Окрестностей». Ведь не с понедельника же и не под впечатлением от очередной разгромной перестроечной статьи прозрел вдруг автор всю неминуемую и трагическую гибель великой империи, крах её казавшейся такой же незыблемой коммунистической идеологии. Это, кстати, наиболее привлекательный сюжет для читателей третьей категории. Тем, кто «не посвящён», любопытно будет заглянуть в святая святых — таинственное, кастовое бытие партийных бонз.

Всё это тема большого, основательного, предметного разговора, не укладывающегося в рамки беглого обозрения. Не наспех, не скороговоркой, хотя бы потому, что автор попросту не заслуживает такого небрежного отношения. Мне же, как литератору, хочется сказать о художественных достоинствах «Тузаева». Мне нравится, как пишет Николай Ефимович. Это, несомненно, мастер. Он многое умеет: задумать и грамотно выстроить сюжет, создать живые, полнокровные образы, каждый из его героев говорит своим, а не его, автора, языком, достичь этого — одна из самых трудно решаемых в литературе проблем. И ещё одно, что вообще удаётся далеко не каждому профессионалу и самое, пожалуй, значимое в необозримом литературном море: у автора есть свой, узнаваемый голос. С чем своего товарища и коллегу Николая Ерохина искренне поздравляю.

Профессор ЮФУ **В.П. Макаренко** назвал свой доклад «Реальная шарашка и проблема спичрайтерства». Улыбнувшись присутствующим, он начал речь:

– В основном согласен с автором. Могу прокомментировать все главы с точки зрения совпадения моего жизненного опыта с опытом автора. Но эту тему оставляю для частных разговоров. Книга автобиографична. Угадываются университет, Ростовский обком КПСС и автор. С ним я лично знаком более 30-ти лет, со времени первого доклада по бюрократии в парткоме РГУ, бесед на Ростовском ТВ по теме «Бюрократия и перестройка» в 1988 г. Здесь хочу публично сказать спасибо Николаю Ефимовичу за то, что в крутую минуту жизни он мне помог.

Подобно автору, я, прежде всего, читатель, затем исследователь. Читательская и аналитическая позиция в отношении книги не всегда совпадают. Какой угол зрения на книгу предложить для расширения поля анализа? Мы с автором совопросники советской эпохи, свидетелями и участниками которой были и дожили до ее гниения и крушения. Сколько времени продлится то и другое? — неизвестно. На участниках всегда лежит их доля ответственности за происходящие события, а свидетели всегда могут соврать. В этом смысле доля истинности в высказываниях наших современников была и будет предположительной.

Мне кажется, что мы с автором принадлежим к одному поколению (хотя по возрасту я моложе его на пять лет, но индивидуальные и поколенческие характеристики могут значительно не совпадать). О данном поколении А.П. Чудаков высказал гипотезу: это последнее военное поколение, представители которого были свободны в детстве от языка советской пропаганды [Чудаков 2015: 545]. В развитие данной гипотезы я бы сформулировал критерий: применение поколенческого подхода к «обретению души» переплетается с мерой свободы всех советских поколений от языка советской пропаганды и, в идеале, идеологии. Понятно, что полностью свободного в этом смысле индивида вряд ли сыщешь, даже днем с огнем. Поэтому критерий можно оставить на правах идеи двигателя с КПД в 100 % — как предлагал М.К. Петров. Тогда отношение ко всем советским поколениям становится критическим, а мера свободы каждого индивида от его характеристик зависит от согласия с данной критикой.

В социологии поколение рождения 1910–1928 г. квалифицируется как первое и практически единственное советское поколение, которое доминировало в период кризисного формирования общества, войны и первых послевоенных лет. Но именно в нем уже возникало разномыслие, которое было передано следующему поколению, т. е. тому, к которому принадлежим мы с автором [Фирсов 2008: 5–12].

Покажу это на примерах: М.К. Петров родился в 1923 г. и дал следующую классификацию типов советских философов: романтик, циник, придворный философ, коммунист-философ-разведчик. Л.Н. Столович родился в 1929 г. и уточнил классификацию: твердолобый ортодокс, образованный ортодокс, циник и бравый солдат Швейк. Литературный критик И.А. Дедков родился в 1934 г., а 15 июня 1955 г. в дневнике сформулировал политическую задачу: вырвать народные массы из-под влияния власти². Эта задача до сих пор не выполнена. Мой ровесник Э.И. Колчинский (рождения 1944 г.) на Первомайской демонстрации 1960 г. провозгласил лозунг «Долой Хрущева!» и описал наше поколение как множество определенных норм и идеалов поведения: оценка друг друга с точки зрения личных достоинств и индивидуальных способностей, а не происхождения, богатства, конкуренции; сопротивление стандартам советского ученика и комсомольца; приоритет дружбы над официальным коллективизмом, завистью и социальной дифференциацией; уважение к способным, предприимчивым, смелым, независимым и сильным; презрение к подхалимам, зубрилам, доносчикам, чекистам и прочим «бдительным гражданам»; чтение с утра до вечера классической литературы, а не детективов и книг про «войнушку» [Колчинский 2014: 111].

Объяснение причин поколенческих различий и их выявление в тексте Н.Е. Ерохина может быть предметом особого анализа. При этом можно оттолкнуться от общей констатации: в СССР существовало три стиля (языка): официальной идеологии (газет, радио, собраний съездов); старой интеллигентской культуры, бытовавший в устном и письменном (после появления самиздата) варианте; язык семьи, быта, улицы. Под таким углом зрения могут быть прочитаны и классифицированы все тексты всех людей, принадлежащих к советскому варианту классических русских «отцов и детей». Для этого можно использовать методологию, разработанную С.А. Никольским для анализа русского мировоззрения, поставить задачу вы-

² «Если Октябрьской революции пришлось ломать государственную машину царизма, то это была игра в бирюльки по сравнению с той машиной, которую, возможно, придется убирать с пути будущему. Опирающаяся на сложившееся за 30 лет доверие масс машина советского и партийного аппарата почти не допускает разрушения. Помимо прочего во главе частей ее механизмов стоят люди опытные и поднаторелые. Противопоставить им опыт и знания в должной степени немислимо. Компенсация должна последовать за счет энергии, смелости, гибкой тактики, дерзких помыслов и трезвого, расчетливого ума. Главная задача перед возможными переменами — вырвать народные массы из-под влияния власти, вселить в сердца смелость и вольность духа, противопоставить интересы правящего и трудящегося, т. е. лишить опоры. Лишенная опоры в народе власть теряет смысл» [Дедков 2005: 14].

деления социологических типов советского идеологического аппарата и расположения в них автора книги.

Автор был спичрайтером Ростовского обкома КПСС. Я читал книги А. Бовина, В. Печенева, А. Черняева, других советников и спичрайтеров. Эта литература требует особой классификации по разным критериям. Отмечу один момент. А.В. Колесников принадлежит к поколению 1965 года рождения, его отец был спичрайтером, а сын написал первую в отечественной литературе книгу об этой профессии³. В книге он проводит *параллель* между спичрайтерами и профессиональными советскими идеологами, но одновременно называет их *узниками идеологии*. На данном противоречии я остановлюсь. Мне кажется оно показательным, в том числе с точки зрения сопоставления опыта Н.Е.Ерохина и опыта А.В. Колесникова, который не только принадлежит к другому поколению по рождению, но и по принадлежности к социальной страте и властно-управленческой иерархии. Я разверну один сюжет, мало представленный в обоих книгах. На него меня натолкнул термин *шарашка*, который в книге А. Колесникова используется для обозначения сферы профессиональной деятельности спичрайтеров.

В качестве методологии возьму роман А. Солженицына «В круге первом», в котором описана классическая шарашка сталинских времен. Использование литературных произведений для анализа сталинской эпохи применяется в книге К. Шлегеля «Террор и мечта» [Макаренко 2014]. Материал романа А. Солженицына систематизирован под углом зрения вопроса: какие темы не учитываются в книге А. Колесникова, хотя он называет спичрайтеров «узниками» идеологической шарашки? Речь идет о реконструкции тем, концептов и образов, которые не потеряли значения до сих пор⁴. Отмечу лишь первые, которые пришли на ум при чтении романа.

Если иметь в виду заглавие, то можно развить классический образ кругов ада, применить его к роману, героям, автору романа (А. Солженицыну) и концепту «обретения души». По Данте, в первом круге ада томятся некрещенные младенцы и нехристиане, которые обречены на безболезненную скорбь. В православии образ ада тождествен геенне огненной, хотя есть авторские разночтения. В современной литературе ад отождествляется с повседневной жизнью (в романе Итало Кальвино «Невидимые города»), в которой существует коллективистский и индивидуалистский ад [Минуа 2017]. Двигаясь по этому профилю, можно поставить ряд вопросов в отношении разных поколений спичрайтеров: к какому роду грешников они принадлежат, а также следует ли их оставлять в круге первом, как предлагал А. Солженицын? Или же годятся и для других кругов ада, в которых находятся соответственно блудники и страстные любовники (второй круг), обжоры и гурманы (третий круг), скупцы и расточители (четвертый круг), гневные и ленивые (пятый круг), еретики и лжеучители (шестой круг), насильники, тираны и разбойники, богохульники, содомиты и лихоимцы (седьмой круг), сводники, оболъстители, колдуны и взяточники (восьмой круг), предатели вместе с Люцифером, Иудой Искариотом, Брутом и Кассием (девятый круг)? Какие коррективы надо внести в соответствии с православным концептом геенны огненной и ее авторскими разночтениями? Можно ли для оценки их продукции использовать классический образ философии

³ См.: Колесников А. Спичрайтеры [Колесников 2007]. Структура книги А.В. Колесникова такова: Пролог: узники идеологии. Глава 1. Самая комфортабельная «шарашка» Советского Союза. Глава 2. Горбачев. Сила и инфляция слова. Глава 3. 1990: время солить капусту. Глава 4. Эпоха Путина: театр одного актера. Заключение: рулады родимых осин, или His Master's Voice. По всем этим темам возможно панорамное обсуждение, в котором попытка теории (А. Колесникова) может быть сопоставлена с жизненным и профессиональным опытом Н.Е. Ерохина, его ровесников и людей помоложе.

⁴ Сделаю оговорку. Творчество А.И. Солженицына описано вдоль и поперек. Я здесь поделюсь опытом глубинного чтения.

камердинера из философии истории Гегеля или же их патроны (Хрущев, Брежнев, Ельцин, Путин) были настолько бездарны, что этот образ не имеет смысла?

Для возможных ответов существует множество мемуаров. Можно устроить обсуждение этих текстов под общей рубрикой «Образы советского и российского ада». Эта задача важна сама по себе, поскольку в современной России господствует режим, который в науке квалифицируется как авторитаризм, путинизм, неосоветизм, неосталинизм и т. д. В связи с этим в последние годы я занимаюсь исследованиями, в основе которых лежит идея: надо разработать такую концепцию, которая позволяет критически относиться к истории России до 1917 г., от 1917 г. до 1991 г., после 1991 г. до настоящего времени. Речь идет о классификации всех идеологических схем, которые предлагаются к описанию способов трансляции монархического, советского и демократического опыта в современную связь между прошлым и будущим.

Мне кажется, кардинальный вопрос можно сформулировать так: как надо было научиться читать в СССР? Для ответа использую солженицынские концепты «неуимчивого чувства на отгадку исторической лжи», «непреклонности воли» и «сильных мыслей». Приведу несколько фрагментов, конкретизирующих первый концепт⁵. Из него вытекает, что чувство различия между правдой и ложью может сформироваться уже в подростковом возрасте, даже в эпоху тотальной лжи. Эту идею можно обосновать за счет использования концепции Ханны Арендт, сформулированной в лекциях по политической философии Канта, в которых она развивала идею всеобщности единичного ощущения для анализа политической сферы [Арендт 2012]. С этой идеей непосредственно связаны материалы Шахтинского дела, в котором инженеры впервые были обвинены в политических преступлениях. Ведь именно материалы этого дела читал мальчик Саша Солженицын. Вырисовывается нетривиальный ход мысли, соединяющий события в нашем регионе с шедеврами художественной литературы, философской и политической мысли XX в. Именно от этого чувства зарождается целое направление советской художественной практики, направленной против советского политического режима. Правда, для половины нынешнего российского общества «непобедимый немой набат» еще не прозвучал.

Стремление к отгадке исторической лжи тесно связано с выработкой независимости от внешних условий⁶. У каждого здесь, в принципе, должен быть собственный личный опыт, хотя многие даже не ставят такой задачи. Но без непреклонной воли невозможна самостоятельность мышления⁷. Я бы хотел подчеркнуть, что у Солженицына понятие силы использу-

⁵ «Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчет процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили. И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в школе им с четвертого класса уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год. Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро» [Солженицын 2015: 278]. «Идя на запад с фронтом, Нержин в разрушенных домах, в разорённых городских книгохранилищах, в сараях, в подвалах, на чердаках собирал книги, запрещённые, проклятые и сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к читателю восходил непобедимый немой набат» [Там же: 277].

⁶ «У меня пройдёт в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно... На свободе или в тюрьме мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчинённой разуму» [Солженицын 2015: 251].

⁷ «С гордостью думал сейчас Сологдин о своём мозге, истощённом столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишённом фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам — взлёт жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направ-

ется для аргументации идеи сильной мысли (а не сильной власти, как гласит нынешняя российская пропаганда). Здесь вырисовывается возможность моста между идеями А. Солженицына, политической философией Б. Уильямса, который изучает отношение между силой, насилием, волей и свободой [Уильямс 2010], и опровержением стереотипа об извечной противоположности между европейским и русским пониманием воли и свободы [Федотова 1998].

На основе синтеза чувства правды, независимости от внешних условий и сильной самостоятельной мысли возникает ощущение специфической нирваны, в которой индивидуальная биография переплетается с историей мысли и способствует выработке определенного психофизического состояния⁸. Данная последовательность поступков, связанных со становлением читателя и индивида завершается образом важности «искренней страницы» даже в условиях лагеря. В этой связи важно отметить, что все биографы политических деятелей СССР (после Хрущева) и нынешней России отмечают практически полное отсутствие у них любви к книгам и чтению. На этой основе возможна связь между историческими, политическими и библиофильскими исследованиями в целях объяснения причин культивирования среди политических деятелей нечувствительности к различию между ложью и истиной и культивирования такой нечувствительности в пропаганде и социальных науках.

Необходимость искренности в оценке реальной истории СССР Солженицын объясняет множеством факторов: общим представлением о непредвиденных последствиях любых действий⁹; стремлением вождя изменить оценку революции в «Краткой биографии И.В. Сталина», выпущенной к его семидесятилетию спичрайтерами и культивированием в СССР иконофильства¹⁰; сталинской критикой ленинского этапа революции¹¹.

лен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли» [Солженицын 2015: 198]. Сологдин: «Ты пойми: мысль! Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть — своя! Мысль, как живое древо, даёт плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами» [Там же: 199].

⁸ Нержин говорит: «Я делаю выводы не из прочтённых философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. В лагере, на шарашке, если выдастся тихое нерабочее воскресенье, да за день отмёрзнет и отойдёт душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моём внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтёшь искреннюю страницу — и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален! Я лежу у себя на верхних нарах, и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем!» [Солженицын 2015: 51–52].

⁹ «Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел? Но, довольно побитый жизнью, он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот — Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось, такая оплошность, что продали её за бесценок, — но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу планеты» [Солженицын 2015: 355].

¹⁰ «Никто, как сам Сталин, не знал, до чего эта книга нужна его народу. Этот народ нельзя оставить без постоянных правильных разъяснений. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для того и нужны были миллионы портретов по всей стране, для того и нужно было постоянное громкое повторение его славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для Вождя — его это уже не радовало, ему уже давно приелось, — это нужно было для подданных, для простых советских людей. Как можно больше портретов, как можно больше упоминаний. И тогда нет предела их восхищению и преклонению» [Солженицын 2015: 115].

¹¹ «Путаница вышла с всеобщим семилетним и десятилетним образованием, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ! Тут напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на сталинскую спину они достались

Среди них важное место занимает ситуация конца войны. Солженицын называет ее «особым коротким временем бесконтрольного обогащения». Оно было заимствовано Сталиным у Гитлера. Исполнителями были советские военно-репрессивные структуры — носители «загипнотизированного грабежа»¹², которое осуществлялось в соответствии с законом иерархии¹³.

Следует также учитывать радикальное изменение ситуации в стране после войны: «Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохранённого памятью молодёжи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Ещё и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далёких тылах. Эти бывшие солдаты были теперь все здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что, и уже не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а — который застали здесь. Стоило взяться за голову и подумать: за что же дрались? Этот вопрос многие и задавали — но быстро попадали в тюрьму» [Солженицын 2015: 405–406].

На этом я прерву свой анализ и сформулирую вопрос: согласится ли Николай Ефимович с таким подходом к анализу советских поколений и продуктов их творчества, в том числе к собственной книге?

Н.Е. Ерохин ответил на вопрос в кулуарах заседания, которые мы оставляем за пределами этой публикации.

Арендт Х. 2012. *Лекции по политической философии Канта*. — СПб.: Наука.

непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством! — как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка — она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особо-отобранным кадрам, закалённым кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя. Установить бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий, родившийся в данной деревне, со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почётное право. Сразу — агиткомпанию: „Новый шаг к коммунизму“, „юные наследники колхозной житницы“... писатели найдут, как выразиться» [Солженицын 2015: 119].

¹² «В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись контрразведки всех действующих фронтов и армий. Это было особое короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл: за честь Родины — это хорошо, за Сталина — ещё лучше, но чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время — в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в Победе, а именно — право послать домой: солдату — пять килограммов трофеев в месяц, офицеру — десять, а генералу — пуд? Но в несравненно более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До неё не долетали снаряды врага. Её не бомбили самолёты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушёл, но куда не пришли ещё ревизоры казны. Её офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смел проверять, что они печатали в вагоне, что они вывезли из арестованного поместья, около чего они поставили часовых. Грузовики, поезда и самолёты повезли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты вывозили на тысячи, полковники — на сотни тысяч, Абакумов грёб миллионы. Это было свыше его сил — смотреть, как обогащаются подчинённые, а себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека! И он рассылал и рассылал всё новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизировано» [Солженицын 2015: 147–148].

¹³ В Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым объёдки одни достались, играют в решку — медалью Победы: «Бросят вверх и кричат: „Морда — или Победа?“ Там с одной стороны написано „победа“, а с другой — Изображение» [Солженицын 2015: 313].

Дедков И.А. 2005. *Дневник. 1953–1994*. — М.: Прогресс-Плеяда.

Колесников А.В. 2007. *Спичрайтеры: «Хроника профессии, сочинявшей и изменявшей мир»*. — М.: «АСТ-Хранитель».

Колчинский Э.И. 2014. *Так вспоминается...* — СПб.: Нестор-История.

Макаренко В.П. 2014. Русская власть и модернизация: общие тенденции на фоне новейших исследований. — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. — № 1. — Доступно: <http://politconcept.sfedu.ru/2014.1/01.pdf>. — Проверено: 11.03.2018.

Минуа Ж. 2017. История ада: заключение. — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. — № 2. — Доступно: <http://politconcept.sfedu.ru/2017.2/13.pdf>. — Проверено: 11.03.2018.

Солженицын А. 2015. *В круге первом: роман*. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус.

Уильямс Б. 2010. От «свободы вообще» к политической свободе. — *История философии*. — № 15. — М.

Федотова В.Г. 1998. Анархия и порядок в контексте российского посткоммунистического развития. — *Вопросы философии*. — № 5.

Фирсов Б.М. 2008. *Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики*. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге: Европейский Дом.

Чудаков А.П. 2015. *Ложится мгла на старые ступени: роман-идиллия*. — М.: Время.